ТИРОМАЛКА

Уходя, он обещал вернуться через пучину лет, чтобы вновь увести детей…

Надпись на доме гамельнского крысолова, 1284 г.

– Сымай, говорю, подеяло с покойника, – шипели из-под распахнутого окна Николеньке, а тот хоть и нашел в себе стойкость перевалиться через оконник в мертвецкую, теперь вдруг заиндевел в недвижимости в глухоте приуснувшего дома.

Дед Михей околел два дня назад, и сегодня в последний раз надлежало ему ночевать под родными сводами. Близкие его утомились от поминальных приготовлений и потому не слышали ни шарканья оконной щеколды, ни стука ставень, ни скрипа половиц под неокрепшими ногами. А Николенька был бы теперь только рад, погибая от нерешительности, если бы обнажилась засада хозяевами и замутка не имела бы разрешения.

Ночь стояла святочная, дети села Погостова по привычаю собирались на посиделки, тогда-то и загорелись друзья-товарищи соображением жуткой постановки. Решили украсть саван покойника, окрутиться в него, набелиться известкою да явиться видом таким на побеседки. Долго спорили, не решались, ужастились, но затем сговорились: кому выпадет жребий – чур, не робеть.

Не робеть надлежало теперь Николеньке. Он стоял в полупустой, неокрашенной светом комнате, где на крепком столе в самом центре лежал дед Михей. Тело его было покрыто саваном, и казалось, что нет ничего легче – стянуть одеяло и задать бегуна. Но зубы Николеньки неостановимо стучали, и, если бы не засиленное прежде слово, никакая забава, никакая хвальба в итоге не сдержали бы его благоразумную робость.

Но некуда было теперь деваться – прихватил погребальную одежу Николька у самых окостенелых дедовых колен, зашуршал ею вверх, оголяя помутнелое, совсем поусохшее тело, и сорвал наконец ткань и с головы упокойника. И открылось взгляду его ужасающее лицо старика. Казалось, рот Михея беззубо-раззявенный Николеньке скалится, глазницы прикрытые клокочут смоляными шайбами-впадинами, а уши лохматые шелыхаются в отсветах луны.

Опрокинулся навзничь Николенька, заелозил ногами к окну, вынырнул прочь в растворенный проем и припустил от дома, прижимая к груди саван.

Долго потом хохотали друзья-товарищи по дороге на встречу с деревенскими, вспоминая, как сильно сначала Николенька в мертвецкой куролежился, но затем достал все же крепости раздобыть саван.

Детвора тем временем уже собралась на колядки в заброшенной бане и обсказывала, пугая друг друга, кошмарные о неживых побасни… И вот посреди сказа о пробудившемся мертвяке, о явлении его для истребования душегуба себе на расправу за честь, за совесть, за жизни загубленные – послышались вдруг за окном на скрипучем снегу шаги. Дети вмиг поутихли: девочки жались к парням, а те и сами рады были к теплу поприпасть, крутили головы, не зная, что делать. Самый храбрый среди детей, Тимофей, решил было поглядеть в небольшие окна-бойницы, как вдруг мелькнула под ними неспешная тень, распахнулась дверь предбанника, влетел с жутким визгом в баню черный кот, а за ним с морозным туманом просочилась внутрь фигура в жутко-белом саване.

О́бмерла враз детвора, позабывала дыхание, а когда вдруг явившееся нечто воздело вперед и руки, – позакричала, позавскакивала, позапрыгала. Рванулась толпой сперва было к окнам бани, а затем и мимо покойника, превозмогая страхи и жуть оказаться застигнутым.

Больше всего в кутерьме досталось двенадцатилетней Малке. Невесомая, хрупкая, ладная, проявляя характер, она старалась сперва пробиться через толпу, прихватиться за кого-нибудь, кто многим сильнее, чтобы вынестись на его руках, но вместо того различила сперва тычок грубый, жесткий в ключицу, затем пинок от кого-то высокого мосластым коленом под самую лопатку, ну а следом развернула ее перепуганная детвора и припечатала лбом о занозивый крепкий дверной косяк. Покачнуло Малку, от удара попятило, и осела она, поутратив чувства от дурноты, духоты и жасти.

В полусне слышался Малке заливистый смех, разговоры веселые, и, казалось, кто-то подтаскивает ее, подсаживает, умещает, но потом беседы шутейные прекратились, завязался спор, пробудивший и Малку к сознанию и мучительной головной боли.

– Ты сымал, ты и ворочай! – отбивались от приступившего с обидой Николеньки парни.

– Договор был и наше дружество! – причитал, выпрашивая, Николенька. – Как туда одному! До сих пор рожа его знобливая пронимает до трепета! До окошка только меня, ребя, чтобы на глазах был, на голосе, али что. А там я сам. Враз или отказ, а?..

Но никто за Николеньку не вступился, никто не пожелал под остывшей луной к незахороненному идти.

В этот миг и пробудилась окончательно Малка. Распознала забаву, разъярепела и, замыслив расправу гневную, обругала ребят, загрозила Николеньке за обиду, на лбу набитую и, громко хлопнув дверью, зачастила по снегу домой, бормоча и расточая про себя поношения.

Подбегая к отецкому дому на краю села, различила вдали потемнелого леса огни. Малка и прежде примечала их проявление, цеплялась взглядом не в первый раз. Но все как-то не до того было, не до отрыва от дел ежебудных. Не до огней было и в эту ночь – надуманное ею не терпело промедления, потому и промелькнула она в комнату, не расточая себя на другие вокруг дела.

– Сымаю крест и пояс. Отпускаю в космах узлы. Сахарного петушка за губу, – заговаривала Малка положенные ворожбе обряды, избавляя себя от охранений, расплетая волосы, запасаясь и меной на случай выкупа себя у духов, чтобы в незадавшемся случае было чем отбрасываться за свою жизнь.

Такого, правда, с Малкой прежде не случалось, чтобы крыса ее, Боянка, не сглодала предлагаемый кусок тироса, сыра по-нашему, но бабка-ведунья, выдыхая из себя последнюю жизнь, строго-настрого наказывала, передавая внучке свирепый дар, об о́ткупе не забывать.

Заскрипели половицы пола, и явился на свет тусклой лампы в руках Малки целый подпол сыров – отличных размеров, узоров и степени разложения. Куски тироса лежали поодаль друг от друга, и каждый пропорот был зуботычкой с закрепленной на конце запиской. Вписаны в записки были и папа, и мама, и сестрица Френечка, и ребята деревенские, и товарка из магазина, и много кто еще из сопредельных Погостову мест.

Созревали сыры втайне от близких Малки по старинным бабкиным рецептам и помогали справляться с теснителями, предугадывать выбор, чувствовать стержень жизни и ни за что не бояться.

Решила Малка теперь завязать негодяя Николеньку по-крупному, не с большого зла, а скорее по неосознанной какой-то одержимости. Забухтела что-то шипящее себе под нос, потирая шишку на лбу, застучала в стену безокую кулачками-костяшками, и послышалось в тишине под луной неспешное копошение да шарканье.

За кроватью, в неприметном углу хоронилась прикрытая рогожей аккуратная скважина. Ткань, застилающая выход из проеденной когда-то прежде глубины, завозилась, задвигалась и наконец откинулась, проявив в подземном мраке светящиеся в темноте красные суетливые глаза. Затем из затеми показалось крупное тело черной, тяжелой крысы, сотрясаемое беспокойным дыханием. Передние лапы, так похожие на ладони людей, примеряли крючковатыми, когтистыми пальцами на ощупь половицы на пути, а затем вдруг поднялись в воздух и сомкнулись в замок, замерев в ожидании угощения.

Крыса опиралась на толстый, густо покрытый волосками хвост, а вибриссы ее суетливо взбивали воздух, распознавая запах еды и предупреждая любую опасность.

Это была Боянка, доставшаяся Малке от бабки-ведуньи Хмары. Боянка не могла уже более исполнять спорые в движении рывки и прыжки высокие, но по-прежнему была такой же опасной, не столько способностью укусом причинять человеку неизлечимую болезнь, загнивающую заживо, прорастающую в жертве желваками и нарывами, сколько способностями своими хтоническими, расточаемыми по воле хозяйки Малки.

Так и теперь подцепила Малка кусок чеддера, высвободила зуботычину с именем Николеньки и пустила скакать тирос по полу до самой до выеденной скважины, где застыла крыса.

Заприметив большой, нераздельный кусок, не прежние небольшие отломы, Боянка замешкалась, застоялась, точно давая Малке миг про-  
явить нерешительность, перезадумать. Но Малка отважилась наверняка и лишь думала теперь об обидчике, потирая кулачком зудящую шишку. Тогда Боянка подцепила сыр своими хваткими пальчиками, прихватила желтыми зубками и уволокла в туннель, где в закутке между крепким домом и подпирающей его амбарной стеной располагалось ее подземелье.

Поутихнув чувства свои и негодования, Малка не скоро, но провалилась в сон, а утром еще спросонок расслышала вдруг пробегающей сестры Френечки крик в окно:

– Николеньки нема, не ночлегал дома! Сбегай к забросу… – не расслышала Малка до конца призывы сестры, вмиг пробудившись сознанием вины своего поступления.

\* \* \*

– Говорил я вам, ребя, что Михей – колдун. Сунемся – завернет головы на затылок, будем следы счатать! А вы дразнились! А теперь Николька канул.

– Да не он это, а Банник, – подхватил разговор Тимофей. – Я еще когда в окно заглядывал, чувствовал, будто баня вся скрыпит. Не любит мохнатый забав пропокойных, не нравится то ему, против евойных правил. Николька поди, как саван отнес, вернулся за вами. А вы-то уж дома сопели. Вот и заволок Банник его за полог да заколупал… Когти-то у него… – и Тимофей растянул руки в стороны, сообщая деревенским меру когтей страшного славянского духа.

Но не покойники и не домовые случили ненастное с Николенькой. Близкий надумал, настращал беду. Знала такое про себя Малка и сама не могла поверить, как отвратилась от добра, оказавшись враз злодейкою.

Забросом в деревне звали стоявший поодаль от дороги и основной гряды деревенских построек дом. Теперь он стоял полуразрушен, крышу его посносило временем, стены сточила непогода, пол, провалившись, врос в землю. Ночью сюда редкий отваживался забрести гость, а днем ребята часто собирались на сходки – взрослых нет, да и дорога мимо идет.

Всего год назад здесь еще в нелюдимости жила бабка Хмара – родная Малкина кровь. То ли звали ее так, то ли прозванье за скверный нрав надумали, Малка в том так и не разобралась, даже когда сама стала хранителем родового секрета…

Была Хмара и неприветлива, и неговорлива. С родителями Малки общалась редко, но внучек, как оказалось, любила, а Малку, младшую свою, так и совсем решила оберегать.

Деревенские дети прежде часто собирались на кладбище, любили ходить под луной среди устий жизни и стращать друг друга привычными замогильными историями. Часто они пугали друг друга старухой Хмарой. Так было и в тот первый знакомства Малки с Хмарой день.

Тимофей признавался, будто слышал, что Хмара способна заговаривать кровь, не только живую, но и стылую, подчиняя и нечисть себе на службу, знала про всех и про всё – что сбудется, что сотворилось и что задумано. Николенька сообщал, что однажды проходившие мимо деревни путники усмехнулись, повстречав Хмару, а она в ответ руки крестом на груди сложила и долго о чем-то своем бормотала на месте да все в землю сплевывала, недобро провожая их тяжелым взглядом. Нашли грибники путников этих в лесу через три дня, точнее, вещи повстречали поразбросанные, а людей – нет, так, говорят, и   
посгинули.

И много еще у ребят историй неясных про Хмару было припасено, начали они уже и над Малкой насмешничать, мол, глаза у тебя в ночи как у ведьмы сияют, плещутся – поди, и заметливость впотьмах лучше, чем днем… Но тут вдруг разнесся эхом могильным неспешный шорох и ворчание шипящее. Затем пробудился какой-то хруст и скрежет, казалось, кость кто-то среди могил глодает-грызет. И вот большой серый   
  
валун, у которого приостановились для бесед ребята, заершился, зашевелился и, возбухая ввысь, обернулся к детям старухой Хмарой.

Вся в земле, в паутине, в руках лопата, волосы, всклокоченные до самого пояса, желтые кошачьи глаза углями горят, побрякушки и бляхи железные, понавешанные на платье, разнообразные – противно позвякивают. Как голосом своим, неотличимым от скрипа дверных петель, захрепетала Хмара, так детвора позавскакивала да позаразбежалась.

– Куда?! Кимарики! Заговорю сей час, хто хворым станется, хто тусклым загниет, хто бранной руганью больбу себе зазывает, силы защитные истончает!

И трепетали дети этих как раз наговоров Хмары больше, чем дел ее непонятных на кладбище – то ли копала, то ли прикапывала, – главное, слово сглазное в свой адрес не расслышать.

Метнулась было за ребятами и Малка, да, отступая назад, провалилась по колено в яму примогильную, от времени поосыпавшуюся, да застряла от ужаса, вырывая ногу против препятствия, хотя неспешно легко бы могла его обойти, не царапая кожу в кровь, не собирая раны и ссадины.

– Обожди, не рви, – недовольно проскрипела Хмара и склонилась на коленях к Малкиной ноге.

«Закусает до издоха, загрызет посередь упокоенных», – убеждала себя Малка, зажмурившись от ужаса, пока Хмара длинными своими, костлявыми руками вызволяла ногу из ямы.

– Заживится, затянется. Однако надо отварный намазать свет. Идем, мелкота. Не хошь? Заговорю!.. – и Малка, не имея решимости противиться, увлеклась бабкой своей родной в стены обходимого прежде стороной дома, ставшего затем на долгие дни самым милым в деревне приютом.

В тепле речей Хмары, в мягкости ее прикосновений, в вязанном особливо для внучки кардигане, в иван-чае, заваренном с сушеными ягодами, медом и яблоками, находила Малка больше приветливости и внимания, чем в быстротечных разговорах на ночь с безызбывно уставшими родителями и в пустяковом вредительстве Френечки, ревновавшей младшую сестру с самого детства.

В тот первый знакомства день обработала Хмара раны и ссадины Малки, поснимала с одежды репей и, усадив внучку в мягкое кресло, пошла и себя приводить в порядок, явившись на глаза уютной и опрятной старушкой, поснимавшей с себя побрякушки странные, расчесавшей в широкую косу волосы, набелившей и руки до чистоты…

Обстановка у Хмары в доме в общем была современной, хотя выделялась сложенной в самом углу дома по-старинному, без смазки, каменкой. Печь в наши дни Хмара уже не использовала, но засмоленные стены хранили свидетельства прежних дней, когда топили ее по-черному, а солнечные лучи проникали в дом, сочетаясь с дымом, точно копченые. У печи стояла та самая кладбищенская лопата, с которой деревенские встретили Хмару под луной, а еще на полу стелилась небольшая изгрызенная со всех сторон рогожа.

– Чяго смиряешься? Не стои́шь за сябя! – прервала размышления Малки проявившаяся из уборной комнаты Хмара. – У меня в твои годы могли враз охрометь, али чяго похуже… – и ведунья, хитро заблестела глазом, застучала посудою, зашуршала мешочками и туесками, и явились на тусклый лампадний свет сухофрукты, варенья разные и целая россыпь сахарных петушков, которых затем и сама научилась варить Малка.

– Не надо никого хрометь. Ребята годные у нас. Да, забавники. А и ты, бабушка, кажись престранная. Переплетни знашь каки про тебя?   
А ты вона! Не жастная совсем. Зачто так дико себя ведешь, одеваешься, нелюдима?..

– Для острастки, для охранения… Не люблю людей… – и, увидев испуг на лице Малки, добавила Хмара: – Но той не про тябя. Ты моя кровь, мой сглаз. И мое к тебе буде всегда жалейское внимание. Лопай скорее, – и Хмара толкнула внучку в плечо, чтобы та приступала к угощениям.

– А с мамой моей почему поразладились?..

– Сама она… сама… Сперва, конечно, и я все не могла простить дочери заурядный выбор… Когда кругом силы стихийные, непознанные, дикая мощь, густота. Был ведь у матери твоей, Малка, ведуньин дар, да растеряла она его, утопив в делах семейных. Ну а потом и сама она стала меня обегать… Село, вишь, наше торговое же испокон было. Не просто так «Погостово», значит «Соборище торговое», прозывалось. Завсе тута торговали сыром, творогом и всяким подсобным. Это теперь позабывали ремесло, а давеча не только торговали, но и нагадывали: за кого замуж девка пойдет, в кого влюбится себе на счастье, а в кого – на погибель. Сыр, вишь, не просто так сворачивается, свертывается – по его узорам, дырам и плесени о жизни можно читать…

– Так то же и ничего неправедного в том, отчего мамка-то?..

– Вишь ли, люди кругом в основном середняки, а бабка твоя Хмара силой наделена. Урожай-то ведь не только на то, что произрастает в земле, случается, но и на наши людские особенности. У нее, у натуры, знашь какая мощь! Заталанить может. А тому, кто поперек устройства надумает чего, али разумом своим, али характером, замыслит нравничать, отделяться, порчи свои внутренние станет на свет вызволять, на-  
оборот, натура враз от себя избавит. В зависимости мы все, в едином потоке… Так вот, мне-то больше других силы досталось. Могла и дурного человека различить, предупредить болезного, чтобы пооберегся, а душевной хворью томимого, чтобы не надумывал недоброе. Особо искусно вызревал у меня и сыр, да творог сладкий собирался до восхищения. Но не торговала энтим я в товарных рядах, а использовала для разговора с силами верными, разъясняя приходящим и судьбу, и всякое разное...

И рассказала тогда Малке Хмара, как являлись к ней люди, робко, тихо стучались в двери по ночам, как уходили с решением и надеждой, благодарили, кланялись, но за глаза стали бояться и привирать. Мол, заодно старуха с бесами, исполняет злые гадания, мелет в сыр и кости, сообщается с упокойниками… Напужалась было Малка тут, вспомнила недавнюю на кладбище встречу, лопату, притуленную недалеко у печи, но Хмара так ласково на нее посмотрела, что вмиг страхи отринулись. А бабка все продолжала, что, мол, так и мать раньше, когда недорослой была, – все принимала с увлечением, а как созрела, смужилась, – стала стороной…

– Давно все это было, теперь уж не прибегаю… Одна Боянка сзывает в памяти те времена. Иди познакомлю…

И застучала Хмара по стене костяшками, зашептала наговоры, точно змея, закрутилась на пятках в разные стороны, и повылезла из-за печи на рогожу крыса Боянка.

Случилось Хмаре с рождения стать сил природных хранительницей, дававших ей и жизненной крепи, и способности заглядывать в неизведанное. Науке сподобили предки – потомственные ведуны, что в свой час переняли искусство от старших сородичей, и так из колена в колено по девичьей линии – до тех пор, пока след и известия не затерялись в позабытой теперь летоистории.

Боянку же приютила Хмара в один из торговых дней, когда на крыс расположенного недалеко от деревни Погостово города объявили смертный лов. Случилась в городе нехорошая болезнь, грызунов посчитали заносчиками. И пошла на них охота – ловушки лютые, приманки и отравы отменные. Завезли и котов, и терьеров наученных в большом количестве. Пригласили и крысоловов умелых.

Был среди них один пооткрывший причину грызунов множения. Мол, человек в беде повинен сам: все замусоривает кругом, не вычищает стоки, запруживает подвалы и амбары, содержит в гниении помойки и тюрьмы, закономерит и голод, и войны, и бедствия. Но не одумались горожане, не послушали его, лишь поизбили и прогнали прочь.

Случилось в те дни оказаться Хмаре в городе и, следуя по его тесным улицам через крысиной резни гул, завернула она на истошный писк в один из глухих проулков и увидела Боянку, бьющуюся от безысходности с тремя терьерами, выдравшую уже одной собаке глаз, израненную, но не уступающую схватке за последние жизни мгновения. Отбила Хмара у собак Боянку, укрыла в платье, унесла из города и с тех пор живет с крысой вдвоем.

И благословила натура союз этот, наделила Боянку силой жизни тягучей. Пережила она не одно свое поколение, а еще выучилась загаданное хозяйкой исполнять.

– Твари эти, Малка, – не только болезни и разрушение, они есть знаки природной выручки, свободы, мудрости. А Боянка моя так и вовсе особенная, крысы-то живут всего несколько лет, а она позабыла о времени, породнилась с тех дней с моей судьбой, а после и тебе будет охранительницей.

Так и простились Малка с Хмарой в тот знакомства день, и часто затем забегала внучка к бабке по всякому важно-неважному.

Поисбылись годы, стала Малка встречать одиннадцатую весну, распалялся круг високосный, безудачливый. И пошел вдруг посреди лета жаркого неостановимый дождь. Шесть дней заливал, а на седьмой утихнул. Не ходила в ненастные дни к Хмаре Малка, а здесь с первыми лучами и заторопилась.

А Хмара при смерти лежит, на остатнем дыхании, Малку дожидается. Целый день лишь чуть говорила с внучкой, будто силы копила, укажет на что-то пальцем кривым своим, мол, подай, принеси, переставь, припрячь, приоткрой, – и отвернется в молчании к стенке. А вечером на самом уже забегающем солнце присела на постель Хмара, шушукнула Малку и говорит:

– Ты, мелкота, слухай теперь внимательно. В дела взрослых не втягивайся, они души сгубленные, не выпутать их, не помочь. Токмо если кто из самых твоих поблизких. А так весь пользуй дар токмо для себя и жди, когда сердце твое натуре отзовется – путь распознает, дело разбередит. Никого не суди, но за обиду умей сквитаться. Иначе за тебя иной дело твое станет решать. Ведь так и положено устроением – кому страсти, тому и жасти, – и Хмара приобняла ничего не понимающую внучку, принакрыла голову ее ладонями, забурлив шепотом вязким, неясным.

Свет в доме Хмары закачался, замигал вспышками, в странную глухоту погрузилась враз Малка, а затем зазвенел ветра свист, повышибал посуду со столов в доме, посваливал горшки, побрякушки, закладки с подоконников, стукнулась дребезжа об пол приставленная к каменке лопата, и опрокинулась на подушки Хмара, а Малка застыла, не понимая случившегося преобразия, прошедшего через нее от самых соков земли до горнего неба.

– Бааа, что это было!.. Что соизошло!..

– Не жастись, мелкота, сила теперь в тебе немерена! Я сей час стану увядать, на глазах. Слухай, не пребивай! Книгу вишь, укрытую тканью на столе! Там все средства про наши родовые гадания, про сорта сыров, творогов, про рецепты на случаи всякие. Я многому тебя в эти годы обучила, сей раз только засилить тебе осталось. Стой за себя в любом сположении, не бойся, но сама першая не вреди – все взращается, все мы в одном колесе.

В этот момент крыса Боянка забралась, перепуганная, на грудки хозяйки, суетливо стала вращать головой, содрогая себя дыханием.

– Боянку к себе прибери. Опусти на землю рядом с домом, она сама пристанище отыщет, прогрызет к тебе в комнату лаз, и будешь выстукивать ее костяшками, как я учила, в дни обрядные. Иди теперь, упокоеваться стану, – насовсем попрощалась уже Хмара. – Матери станешь про меня сказывать, передай, что я за все ее простила и жалела о нашей размолвке каждый день. Иди обойму тебя, и брысь из дома, мелкота моя ненаглядная…

Хмару схоронили на третий день, Боянка поселилась в запустелом амбаре позади Малкиного дома, а сама девочка с тех пор начала приколдовывать.

Обряд ее складывался так. В устроенном в подполе тайнике хранился укрытый Малкой со стола или купленный в магазине сыр разных сортов и размеров. Каждому куску, отличному один от другого, назначалось имя знакомого человека, и хранились сыры, вызревали в покое до наступления обиды или другого до Малки неуважения. Кто злословил ее, вредительствовал, вмиг получал расплату. Кругом думали, будто сама доля вступается за Малку, а потому нет-нет да и стали относиться к ней с опаскою и приютом. Ведь мало-помалу нашлись, как сопоставить прошествия да случайности.

Пес, напугавший Малку однажды, на следующий день охромел, угодив, играясь, в яму. Дразнившие в голос заезжие из города мальчишки напоролись босыми ногами на битое на дне водоема стекло и поразъехались по домам перевязанные. Дед Михей, накричавший как-то раз на ребят, три дня извивался грыжею, а товарка Рина поскользнулась и вывихнула ногу, нагрубив как-то пришедшим за мороженым детям. Много чего еще случалось, но ничего прежде такого непоправимого. Но то и скармливала Малка Боянке всегда от заговоренных кусков по малому отщипу, а не целому, как случилось с Николенькой в этот раз…

Малка в ворожбе, от Хмары доставшейся, и раньше не сомневалась, да только теперь различила ее силу погибельную.

– Како мне дело, зазнобят меня куры али нет, если же я их люблю есть, – говорила Хмара о силе своей и способностях, чтобы внучка не сомневалась и справляла дело без нерешительности.

В угрызеньях и холоде проходила Малка дотемна по окраинам деревни, вспоминала все с ужасом наказы бабки, что если целиком заглотит Боянка кусок завороженный, то ходу обратного уж не будет и свороченного не вернешь. Да все же решилась пролистать сызнова затворную книгу, вдруг сыщется что-то, чего не различила, недовыглядела…

Вернулась Малка домой, проводив закат, встретили ее растревоженные дома родители, стали расспрашивать про Френечку, где сама была, почему долго так сей час гуляла. Думала Малка сознаться в наговоре и в своей беде, посоветоваться, позаручаться. А случилось, что Френечки дома не было до сих пор, как ушла с утра на заброшку, так и не возвернулась. Не до Малки стало перепуганным родителям, собирались на поиски, по деревенским в розыск.

Закутилась Малка в комнату свою, стала поднимать половицы. Николькин сыр был изъеден целиком вчера, лишь позеленевшая валялась в подполе зуботычина теперь с его именем. А до Николеньки стравливала Малка Боянке Френечкин кусок, небольшой, – за обиду, за добро сестре преднаказанное. Нагадала Малка Френечке не встречаться с женихом из соседней деревни, проявила, что неверный он, позабывчивый, акромя того, и сутулый. А Френечка, счастья не зная, заругала Малку, запозорила… Тогда и стравила кусочек тироса Малка Боянке… Но думала, попривычно, не страшное ничего случится – поотравится, простынет, и все. А тут, гляди, и с малого куска в незнание. А кровь своего, право, не шутка. Думай, не думай, а выручай.

Стала ручками своими Малка елозить в подполе и высвободила на свет книгу дремучую, сыпучую, заметами на всех страницах исписанную. Всю ночь читала-выгадывала и распознала, что, коли насытится совесть, нажалится, дабы обернуть все вспять можно опробовать средство одно: достать сыру того же сорта и размера, истопить целиком на огне до прижарок, до гари, наговорить покаянные слова, дабы с дымом ушло вредительство. А коли и то не поможет, единое станется средство –   
расплатиться жизнью животины, в ворожбу замешанной… силы уж тогда изойдут насовсем и несвет рассеется.

Испугалась Малка такого разрешения. Нет, не можно, не должно задушегубить Боянку милую, безропотно, беззаветно отдавшуюся служению…

И уверилась девочка с утра разрешить все малыми средствами и позабылась на пару часов до истечения оставшегося предрассветного времени.

\* \* \*

Утром Малка споро влетела в магазин.

– Рина, Рина! Скажите, где у вас тот красный чеддер? Завозили две недели назад…

Но нужного сыра в магазине не оказалось, не было и иных не занятых в ворожбе Малкой сортов, и что оставалось теперь делать, девочка не представляла.

Захлебываясь от досады и неприключения, вышла от товарки Малка и села тут же на окаймляющий магазин, оледеневший бордюр, расклеилась как-то враз, заплакала. Ветер хлестал ее волосы, засыпал лицо колкими, мелкими снежинками, оголенные ладошки, спасающие ясного солнца лучи, вдруг накрыла какая-то тень, загородив от тепла и света.

Перед Малкой стоял долговязый, крепкий, приветливо смотрящий на нее человек в пестрой, создающей ясное настроение одежде. Он был похож на охотника, только странного охотника, будто ненастоящего, а принаряженного. На ногах его были темно-серые высокие уги, в которых прятались хмуро-синие гетры, надетые поверх бежевых штанов, украшенных расписным узорным поясом. Скандинавского фасона куртка в разноцветных причудливых узорах, длинная, до колен, была расстегнута, под ней скрывался буро-зеленый шерстяной жилет на застежках, а на шее был повязан коричневый шарф. На голове его была бордовая, гусеницей, шапка, похожая на рыболовный силок. Незнакомец дружелюбно улыбался и через мгновение предложил:

– Я слышал, ты ищешь особый янтарный чеддер? Не плачь, у меня как раз есть целый для тебя кусок, – и он протянул, вытащив из-за пазухи, тот самый, нужный Малке, кусок сыра – похожего цвета, должной упругости.

И только Малка коснулась куска, что-то вдруг в голове ее зазвучало, засвиристело, заплакало. Казалось, неразличимо где, но в то же время и повсюду, льются звуки уличной флейты, звуки неясные, но такие завораживающие, зазывающие. И Малка сама не заметила, как вдруг приподнялась и оставила пределы магазина, дошла до границ деревни и отправилась в чащу леса вместе с пестрым незнакомцем, не имея сил противиться, не желая возражать.

Они шли мимо дороги, мимо знакомого поля, вошли в лес, уходя от деревни все глубже и глубже, а деревья, привычно мрачные и нелюдимые, встречали в этот раз Малку приветливо, расступались, расслаивались, давая ножкам ее спокойно идти, убирая всякий неприятный взгляду сор и препятствия. Незнакомец, чужой человек в пестрой одежде, глазами счастился, подмигивал Малке, будто рассказывал занимательную историю. А Малка все шла и не думала, что огни, светящиеся впереди, виделись ей в чаще и прежде…

Когда Малка пробудилась от морока, она обнаружила себя на краю широкой ямы. Перед ней было не стихийно обвалившееся заглубление, а подготовленный умелыми руками глубокий погреб, задуманный для долгого обращения. Погреб имел крепкую глухую, укрытую мхом крышку с отверстиями для воздуха, утепленные стены и пол, подушки и одеяла, светильники, чадящие маслом, а еще игрушки, разбросанные внутри. Прятал погреб и детей, напоенных внутренней какой-то безмятежностью, среди них различила Малка Николеньку и сестру свою Френечку.

– Полезай в землю, душа моя, широкую, просторную, всяк принимающую, – предложил Малке незнакомец спуститься по небольшим ступеням, а дети, глядящие как мальки в неводе, головками послушно в такт голосу пестрого незнакомца закивали. – Легко впустит тебя к себе земля, покроет собой, точно приютной шерстью, не бойся, не задумывай, – тихо продолжал незнакомец, глаза его вмиг стали красны, как угли, и в воздухе вновь зазвучали знакомые переливы.

В этот момент сильно-сильно Малка зажмурилась, сознавая приступы охватывавшего ее непротивления, представила себя дома, в комнате, –   
вот они, заветные половицы, а здесь тяжелая кровать, там позади нее пробирается по лазу Боянка, пробирается в любой час и в любой день, и, примостившись на колени, стала Малка стучать по доскам лестницы, нашептывая под нос привычные заклинания, призывая подругу к себе на помощь.

– Как? Противится? Когда музыкант пособрал поотсталых, не дабы плодить зло, а во имя пагубы в душах взрослых искоренения, – с интересом произнес пестрый незнакомец и, развернув к себе Малку, только невесомо коснулся ее живота раскрытой ладонью, но от этого легкого прикосновения скрутило с такой жуткой силой живот девочке, что ноги ее подкосились, и рухнула она в яму, испытывая несносимую боль.

Последнее, что видела до потери сознания Малка, – замельтешившую над ямой тень, а еще будто силуэт отца, напомнившего вновь о доме своим движением.

\* \* \*

Малка очнулась на следующий день. Оглядела знакомые стены, наобнималась с сестрой, нажалелась с матерью, приворошила Боянку…

Зло поотстало. Хотя не случись этой негаданной папиной приметливости, преследования незнакомца в лесу, уведшего Малку, сшибки на краю ямы, порезанного до глубины живота, из-за чего папа теперь в больнице, а еще внезапно пробудившихся от морока детских криков, –   
не сбежал бы тогда, пожалуй, пестрый незнакомец и не знамо где бы теснились теперь деревенские дети.

Нагулявшись в тот самый пробуждения день, Малка сидела дома в закатном угасающего дня солнце и все шептала Боянке, нашептывала:

– Ты прости меня, милая, я же и впрямь было уже задумала тебя извести… от безысхода, отчаяния. А ты всегда была заступницей, моей жалейкой. И в лесу меня услышала, и отца навела. Ведь тоже ты?.. Не скажешь, а я-то ведаю… Но осталось у нас с тобою дело незарешенное. Составим его и оборвем со стихией связь, пущай натура сама разрешает… – и достала Малка предмет с кулачок, укутанный в бумагу, развернула сыра кусок, нашептала в него, наговорила и целиком Боянке бросила. – Никаких теперя поотсталых, никаких боле утерянных…